



Валерий ВЕРХОГЛЯДОВ

г. Петрозаводск

ПАРОВОЗ

1

«Счастье, — читаю в толковом словаре, — состояние высшей удовлетворенности жизнью, чувство глубокого довольства и радости, испытываемое кем-либо».

Представляю, насколько сложно было дать академическое определение столь эфемерного понятия, как счастье. А есть ли оно? Нет ли? Кто его знает. Зато всегда желанно.

«Человек создан для счастья, как птица для полета».

Это утверждение родилось не в жизни, а в ее отражении — в литературе. Однако люди в него верят. Люди вообще охотно верят в несбыточное...

2

У девушки моей юности были красивые ноги.

С той поры я повзрослел, жизнь научила обращать внимание и на другие части тела, но стройные женские ноги вызывают неподдельный интерес до сих пор. Тогда же я мог ими любоваться бесконечно.

Обладательницу красивых ног звали Людой. При знакомстве она представлялась Милой. Я называл ее на французский манер Люси, с ударе-

нием на последний слог, Люда-Мила против такой вольности не возражала.

Это была культурная девушка, она даже читала книги — не романы про любовь, но книги — русскую и зарубежную классику. А однажды, когда гостила у тетки в Питере, Люси на свои деньги купила билет в консерваторию, где услышала много интересного, и в том числе один из «Венгерских танцев» Брамса, который особенно лег ей на душу. Вот этот: та-ри-ра-ри-ра, та-ри-ра-та, та-ри-ра-ри, та-ри-ра-та... Помните? Она частенько напевала полюбившуюся мелодию, и хотя я ни разу не слышал эту вещь в оркестровом исполнении, уверен, что узнаю ее по первым тактам и тем самым смогу поразить окружающих своей музыкальной образованностью.

Люси училась на третьем курсе филфака, а я, недавний выпускник университета, только-только начинал карьеру журналиста в молодежной газете. На дворе же был социализм в его самой загадочной развитой (ударение на «о») форме, и поэтому политика меня, как и многих советских людей, совершенно не интересовала. А интересовали репортерство, Люсины ножки и охота.

Если с работой и ногами все более-менее ясно, то об охоте нужно сказать отдельно.

Эта страсть навалилась на меня неизвестно откуда и непонятно почему. В какой-то момент

вдруг понял, что без охоты жизнь лишена азарта. Я вступил в охотничий союз и купил одностволку шестнадцатого калибра. Через какое-то время появилась курковая двустволка, на смену которой пришла ижевская бескурковка с вертикально расположенными стволами. С этим ружьем я и сейчас каждую осень брожу по лесам, подманиваю в пищик рябчиков, стреляю пролетную утку или подкарауливаю у выставленных чучел осторожных тетеревов.

Встречи с Люси пришлись как раз на ту пору, когда у меня была тульская двустволка, правый ствол — чок, левый — цилиндр с напором.

На первом свидании, как и положено, читал девушке стихи, на втором мы говорили разные глупости и целовались, а на третьем я уже посвящал свою подружку в тонкости охотничьих переживаний.

Ее это заинтересовало.

— А на тяге вальдшнепов не случалось бывать? — спросила Люси.

Не знаю, кого она в ту пору читала. Аксакова? Тургенева?

— Нет, — сказал я. — На тяге я не был.

— Жаль, — сказала Люси. — Мне бы хотелось посмотреть на брачные игры вальдшнепов. Красиво, наверное.

...Мне вспоминается одно из наблюдений Василия Аксенова.

У нас уже был капитализм. Василий Аксенов, который много лет провел в изгнании, вернулся в Москву.

— Какие у вас сложились впечатления о новом облике столицы? — спросили его в первом интервью.

— Девушки стали другими, — сказал Аксенов, — они уже поняли, что привлекательность — это товар, который можно неплохо реализовать, и теперь девушки не хотят быть подружками веселых, но нищих художников.

Сейчас моя Люси, простите, уже не моя и уже не Люси, а Людмила Сергеевна, тоже, наверное, стала другой, но тогда она встречалась с начинающим журналистом, была романтической и хотела увидеть, как тянут вальдшнепы.

Каприз? Конечно. Но какой замечательный каприз!

— Возьмешь меня на охоту? — спросила она.

Я погладил ее красивые ноги и сказал:

— Подожди до весны.

В мае, как только подсохли дороги и повеяло первым, еще неустойчивым теплом, я сел на мотоцикл марки «Восход» и поехал к своему знакомому леснику. Жил он не в поселке, как большинство его коллег, а в лесу, в одиноко стоящем домишке, который гордо называл кордоном. Звали лесника Николаем, и у него была простительная слабость — он обожал описывать свои фенологические наблюдения. Эти наблюдения Николай посылал в газету. Как только наш редактор узнал, что я балуюсь с ружьишкой, тотчас же все Колины заметки стали попадать мне на стол. Я их правил, доводил до ума и публиковал в тематической полосе «Шаги по росе». Не мудрено, что с Колей мы вскоре подружились, и я даже несколько раз погонял в его угодьях рябчиков.

Коля неожиданному гостю искренне обрадовался и тотчас полез в подпол за солеными груздями.

Когда выпили за встречу, я спросил, нет ли где поблизости тяги?

— Сильно интересно? — хитро прищурился Коля.

Рассказал о Люси, о ее странном желании.

— Простецкая девка, все б такие были, — сказал Коля. — А тяга... Что тяга? Дорожку на гору знаешь? Так метров двести по ней пройдешь, там поляна, каждый вечер над той поляной вальдшнепы хоркают. Совсем обнаглели, никого покоя от них нет.

— Так это, можно сказать, у тебя под окном.

— О чем и говорю.

— Не пойдет. Мне бы с трудностями, чтобы силеневый туман и все такое.

— С трудностями, говоришь? Ну, наливай тогда. Будут тебе и трудности.

Через два дня я привез на кордон Люси.

Мы наскоро попили чаю и отправились в путь. По шоссе дошли до тридцать седьмого километра, там, около оплывшего от времени окопа, в лес уходила малохоженная тропка, вначале она вывела к железной дороге с поржавевшими рельсами, а затем, через пару километров, — к болоту, неизвестно для чего осушенному мелиораторами.

— Как перейдете болото, начнется старая вырубка, а перед ней полоса ольшаника, вот там где-нибудь затаитесь, — говорил Коля.

Ноги по косточку утопали в пружинящем мху. Несколько куропаток, которые кормились прошлогодней клюквой, шумно вспорхнули и, треща крыльями, потянулись к лесу.

— Вальдшнепы? — вскрикнула Люси.

— Куропатки, — поправил я. — Вальдшнепы вдвое меньше.

Мы довольно бодро дошли до ольшаника, где и спрятались в самой его гуще.

Уже было сумеречно.

— Где же птицы? — спросила Люси.

И тут налетел первый вальдшнеп. Он промчался над нами со скоростью курьерского поезда, на фоне светлой полосы зари мелькнула на миг его плотная тушка с длинным клювом, мелькнула и тотчас исчезла.

Тяга началась.

Вальдшнепы с небольшим перерывом летели один за другим

— Здорово! Вот это здорово! — восторженно шептала Люси.

— Еще бы! — во мне бурлил охотничий азарт. — Мы с тобой выбрали самое удобное место. Случайно выбрали, но как хорошо. Подстрелить летящего стороной вальдшнепа трудно, это же не птица — молния, но, когда стреляешь ему навстречу, он сам налетает на дробовой заряд, это называется стрельба «в штык». Жаль, ружья не взял.

— Хорошо, что не взял, — тихонько засмеялась Люси. — Какая красота! Как низко они, оказываются, летают.

Отгорела вечерняя заря, и вальдшнепы пропали, словно их и не было.

— Пошли домой, — сказал я и достал из кармана куртки фонарик.

Мы осторожно выбрались из ольшаника.

С первым шагом по болоту фонарик погас.

— Что случилось? — спросила Люси.

— Лампочка перегорела. Дело поправимое.

В моем фонарике имелось специальное гнездо, где всегда была запасная лампочка. Я вкрутил ее на место перегоревшей, пощелкал кнопкой переключателя — фонарик не горел.

— Придется выбирать в темноте.

Люси промолчала.

Я, конечно, хотел немного трудностей, но неработающий фонарик в число трудностей не входил, это получилось нечаянно.

— Давай руку, и пойдем потихоньку. Здесь же — помнишь? — недалеко.

Рука Люси была холодной.

Мы тихо побрели болотом. Сумерки, как назло, еще больше сгустились, и пошел первый весенний дождь.

Примерно через полчаса под ногами захлупало.

— А когда шли туда, мох был сухой, — сказала Люси.

— Его дождь намочил, — сказал я, хотя подумал, что мы немного сбились. Взял правее, и минут через двадцать путь преградил густой кустарник.

— Это не тот, из которого мы вышли? — спросила Люси.

Вообще-то, она держалась мужественно, не ныла, не жаловалась, не закатывала истерику, поэтому я сказал правду:

— Не знаю. Если в темноте сделали круг — тот же самый, а если перешли болото — то другой.

— А как мы узнаем — какой это? — спросила Люси.

Она не сказала «ты узнаешь». Она не переваливала вину на меня, она сказала «мы», и мне это понравилось.

— За кустарником на другой стороне болота была вырубка, а за тем, который нам нужен, должен быть лес, — сказал я.

— Понятно, — сказала Люси, но в ее голосе я не услышал энтузиазма.

С большим трудом продравшись через кусты, мы оказались в лесу.

Но идти по нему было еще труднее, чем по болоту, казалось, что деревья растут чуть ли не сплошной стеной.

Время стало вязким, тягучим, и я не знаю, сколько мы брели, постоянно спотыкаясь то о корни, то о камни, то вообще непонятно обо что.

— Давай остановимся и дождемся утра, — сказала Люси.

Я давно уже понял, что в нашей ситуации это лучший выход, и поэтому охотно согласился:

— Давай. Сейчас я костер разведу, мы немного обсушимся, и вообще с огнем веселее.

— Ага — разведешь, — сказала Люси. — Как ты его разведешь? Дождь льет, и все вокруг мокрое.

— Омертвевшие веточки елок, те, которые внизу ствола, даже в ливень не намокают. Так

что садись-ка под это дерево, а я начну топливо собирать.

— Только не потеряйся, — сказала Люси.

— А ты пой — будешь мне маяком.

— Петь?

— Да. Что-нибудь революционное — это тебя взбодрит.

— Я и слов-то тех песен не знаю.

— Это не важно, главное — пой громко.

— Ну, ладно, — неуверенно сказала Люси и тихо затынула: — Мы дети тех, кто тра-та-та.

— Громче!

— Тарам, тарам, та-ра-ра и паровоз свой оставлял, идя на баррикады.

— Еще громче!

— Наш паровоз, вперед лети! — что есть мочи заорала Люси, — в коммуне остановка! Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка! Я в цивилизацию хочу! Паровоз хочу! И чтоб гудел! Какое это счастье — увидеть паровоз! Он мчится быстрый, как вальдшнеп, и гудит, гудит...

— У-у-у!!! — вдруг послышалось неподалеку, и снова: — У-у-у!!!

Это, без сомнения, был паровоз. Потом мы услышали шипение выпускаемого пара и снова гудок, уже ближе. Метрах в пятидесяти лес осветил белый свет прожектора, и мимо нас, ритмично двигая локтями шатунов, неторопливо прокатил паровоз.

— Как это? — шепотом спросила Люси. — Я сошла с ума?

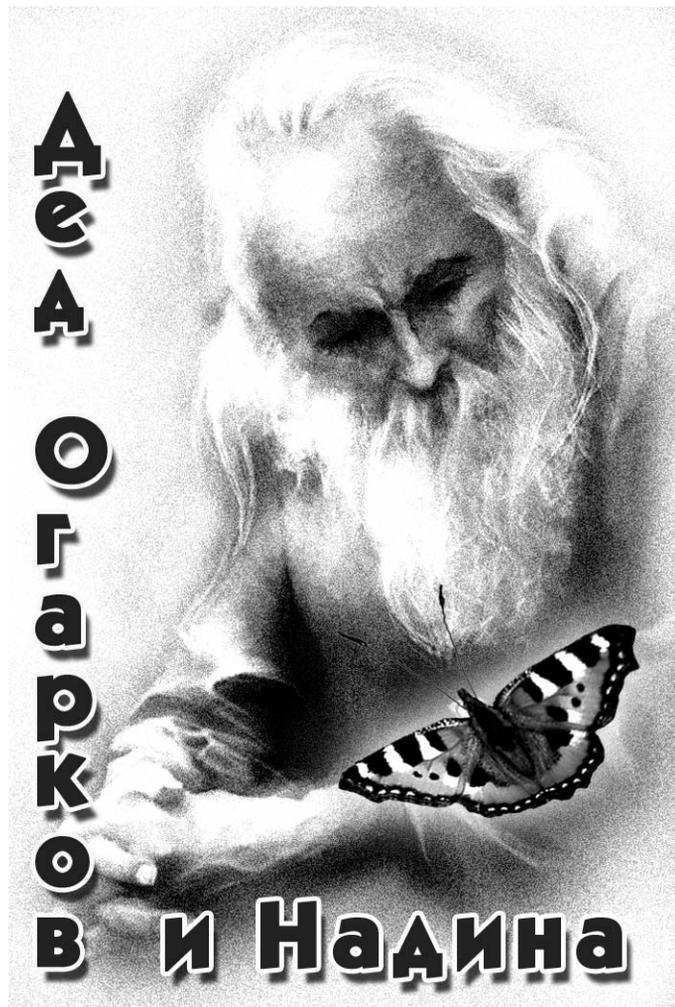
— Нет. Это паровоз, — мне стало весело. — Мы чуть было не развели костер в десяти метрах от железной дороги. Вставай, пошли на кордон.

3

Человек может многое. Даже вызвать паровоз — в лесу, в ночи, на давно заброшенной железнодорожной ветке.

Нужно только сильно этого захотеть.

И это будет краткий миг настоящего счастья.



Дед Огарков невысок ростом, широк в кости, он похож на комод работы деревенского плотника.

У деда Огаркова широкие плечи — прямые, как рыцарский доспех, длинные руки, привыкшие к тяжести, при ходьбе он немного загребает ногами и в такт шагам кивает головой.

— Ходок, — говорит Дуся Тушина, в том смысле, что дед Огарков охоч до женщин.

— Да какой он ходок — песок уж сыплется, — не согласается многодетная мать Тася Шитикова.

— Не скажи, — говорит Дуся. — Его подстричь бобриком под председателя райисполкома, дикую бородищу сбрить под корень да одеть в бостоновый костюм — будет мужчина хоть куда. Как, по-твоему, сколько ему лет?

— Под восемьдесят, — уверенно говорит Тася.

— Те, которым под восемьдесят, на завалинке сидят да голубыми глазками пилькают, а этот по лесам, как лось, бегает. Я думаю, ему шестьдесят семь — шестьдесят восемь.

На самом деле деду Огаркову шестьдесят пять, хотя выглядит он намного старше.

В нашем городке, который по недоразумению возведен в ранг районного центра, меньше десятка незначительных улиц и одна главная, осевая, которая тянется почти пять километров и уважительно называется шоссе. Почти на середине этой магистрали на небольшую горку отходит переулочек без названия. С одной стороны ответвления живут Тушины, с другой — Шитиковы, на середине горки домишко Огарковых, а уже на самой верхотуре самый большой дом, он на две семьи. На одной половине живут тетя Аня и дядя Володя Макаровы, на второй — я с мамой. Хуторок у нас дружный, секретов друг от друга не держим. И только дед Огарков — исключение. Он в коммуне самая загадочная личность. Здороваться здоровается, однако в разговоры ни с кем не вступает.

— Темная лошадка, — как заправский ипподомный игрок, говорит Тася Шитикова.

Зимой дед Огарков действительно работает лошастью.

Как только снег плотно укрывает землю, он встает на охотничьи лыжи. Еще из одной пары таких же широких лыж сделаны санки-волокуши. С лучковой пилой на плече и финским топором за поясом дед Огарков уходит в лес. Назад возвращается часа через четыре, видать, далеко валит деревья. На санях лежат туго обвязанные пять-шесть аккуратных бревнышек. Дед их пилит, колет, а полешки складывает под навес, где мороз и ветер отжимают из них лишнюю влагу. На следующий день он отправляется за новой добычей. Все в округе знают про эти самовольные порубки, но кто же будет доносить на пенсионера?

Время от времени к саням привязывается дощатый короб. В него укладываются кусок брезента для полога, небольшой мешочек с продуктами и побольше — с щучьими капканами, в специальное гнездо вставляется пешня. Это значит, что дед Огарков собрался на рыбалку. Все с тем же неизменным топором за поясом он нетороп-

ко катит по лыжне, проложенной по краю нашего огорода. Домой возвращается через два-три дня. В коробе лежат обледеневшие щуки, чуть меньше тех бревнышек, которые дед возит со своей тайной лесосеки.

По весне, как только сойдет лед, начинается у деда Огаркова настоящая рыбалка. Чуть ли не на всех озерах в округе у него имеются самодельные дощаники.

Дощаник — это такая немудреная лодочка. Борта у нее низкие, в три доски, из досок же, приколоченных для простоты поперек, собирается и плоское днище. Эти лодочки, даже хорошо проконопаченные, все равно текут, и потому их смолят до полной черноты.

Пойманных щук и крупных окуней дед солил, плотву вялит и за копейки сдает в продуктовый ларек. Продащица Клава берет у него рыбу в любом количестве и, назначив уже настоящую цену, продает ее любителям пива.

В августе и сентябре дед Огарков собирает грибы. Чуть ли не каждый день приносит из леса две большие, плетенные из ивового прута, корзины, полные подосиновиков, подберезовиков, лисичек, а ближе к осени — волнушек, синюшек и рыжиков. Боровые грибы он сушит и наволочками носит в железнодорожную столовую, а те, что для соления, большей частью отдает менее расторопным соседям.

Бабка Огаркова, с чудным для ее возраста и положения именем Вероника, в заготовках участия почти не принимает. Она вообще мало что по дому делает. По возрасту она моложе деда на десять лет, но выглядит даже старше.

Суть в том, что бабка Огаркова пьющая, и сильно пьющая.

Дед уже давно махнул на нее рукой и опасается лишь одного, как бы супруга по пьянке не спалила дом.

Поскольку на водку денег нет, бабка ставит брагу, и у нее в постоянном обороте то ли шесть, то ли восемь десятилитровых бутылей.

Вот осень, середина сентября, может, даже его вторая половина. Дед, как обычно, мотается по лесам, бабка сидит около дровяника на чурбачке, уже с утра поддтая, и шуруется на солнышко. Я проезжаю мимо на велике, спеша по своим неотложным мальчишеским делам.

Тут бабка как бы очнулась, заметила меня и махнула рукой.

— Иди сюда.

Я положил велик на землю, подошел.

— Ну?

У бабы Вероники сморщилось лицо, что обозначало улыбку.

— Рассказать, как делают напиток радости? — спросила она. — Только ты больше никому.

Она заговорщицки приложила грязный палец к губам.

— Тсс! Чок-чок, зубы на крючок.

С чего это вдруг у бабы Вероники выиграла педагогическая жилка — до сих пор не понимаю, но выданный как величайшая тайна секрет изготовления браги запомнил навечно, хотя воспользоваться им до сих пор не удавалось.

— Вот, к примеру, есть у тебя пятилитровая бутылка, — баба Вероника показала, какой высоты должна быть необходимая емкость. — В теплой водичке разводишь сто грамм дрожжей. Только не в кипятке! В кипятке дрожжи сварятся — они же живые. Отдельно разводишь килограмм сахара — и тоже в теплой воде. Что у тебя получается? Правильно — получается сироп. Смешиваешь его с растворенными дрожжами и выливаешь в бутылку, а потом доливаешь ее до верха и ставишь в теплое место, только пробкой не закрывай, а то она взорвется, как граната. Некоторые резиновую перчатку на горло бутылки натягивают или выводят резиновую трубочку в воду. Но у меня ни перчаток, ни трубочек нет, я бутылки просто открытыми держу. Через десять дней брага готова. Только ее нужно, не взбалтывая, перелить в чистый бидончик, так, чтобы осадок в бутылке остался. Вот и все. Пей и меня вспоминай.

Сама баба Вероника предпочитает брагу из натуральных продуктов. К таковым относит березовый сок, всевозможные ягоды, а также сухофрукты, из которых обычно варятся компоты. Сахар она добавляет, как в чай, — по вкусу и для того, чтобы подтолкнуть процесс брожения.

Недели через две после того памятного разговора у нее как раз подоспела бражка, настоящая на забродившем варенье.

И было застолье с простыми тостами, беззаботным смехом и песней про тонкую рябину.

— Душистая получилась вещь, — говорили бражные дегустаторы, — но не забористая, не дошла до нужного градуса.

Баба Вероника и сама понимала, что градус не тот, не брага на этот раз у нее вышла, а детский

напиток «Буратино» или, того хуже, «Дюшес» — три капли экстракта на ведро воды.

Пообещала исправить промашку. Гости сбегали за водкой, добавили ее, родимую, поверх бражки и бабку простили, а ее обида накрыла, словно неловкого пловца в темном омуте, — с головой.

Следующую бражку баба Вероника поставила на бруснике, собственноручно собранной в заповедном распадке за двумя болотами. Через неделю, когда напиток уже начал приобретать характерный колер, сняла пробу — вкусно, однако градус опять мелковат.

Что делать? Делать-то что? Вот вопрос, который веками мучает русского человека.

Слышала баба Вероника, что иногда в брагу для придания ей крепости табачный лист добавляют, тот самый табачный лист, от которого даже мухи мрут. Только где ж его взять? А в шестидесятые годы прошлого столетия, когда и происходили описываемые события, во всех хозяйственных магазинах продавалось радикальное средство для борьбы с грызунами и вредными домашними насекомыми под названием «дуст».

«Этот-то, пожалуй, позабористее, чем табачный лист, будет», — подумала баба Вероника.

И, подумав так, щедро сыпанула в готовую бражку ядовитого порошка.

Хотя у хмельного напитка вкус оказался несколько химическим, гостям он понравился.

— Уважила, Вероника Матвеевна, — говорили они, — хорошо у тебя на этот раз получилось.

Все застолье во главе с хозяйкой к ночи оказалось в больнице. Пятерых, в том числе и бабу Веронику, откачали, двоих спасти не удалось.

Следствие было коротким, что не скажешь о судебном процессе, ведь известно же, что чем понятнее дело, тем дольше оно разбирается. А как же иначе? Ведь в этой лежащей на виду понятливости чаще всего и заключается главный подвох и подтасовка фактов.

Бабу Веронику под стражу не заключили, приняли во внимание ее преклонный возраст, и она раз за разом тащилась через весь город на судебные заседания, где внимательно слушала, о чем говорят умные люди. Ей была по душе напористость прокурора, прямая, как рука вождя: «Правильной дорогой идете, товарищи!» Она была согласна и с адвокатом, выразившимся менее понятно, но зато красиво. Но более всего ей нра-

вилась судья — дородная женщина в строгом сером жакете, очках, с тонкими губами в линию и модной шестимесячной завивкой. «Как барашек, — думала баба Вероника, — богато живет!» А вот многочисленные свидетели ее раздражали — это ж надо уродиться такими бестолковыми, двух слов связать не могут.

Слушание дела завершилось в декабре. Но судья, которой этот процесс ужасно нравился своей латинской ясностью, отложила вынесение приговора на следующее заседание — последнее. Конец венчает дело — *finis coronat opus*.

Баба Вероника вышла из светлого, чистого здания суда и побрела в свой убогий, неприбранный дом. По пути заглянула в продуктовый магазин, купила там чекушку московского розлива, здесь же, у магазина, завернув за угол, выпила и села в пышный сугроб отдохнуть. Утром ее нашли замерзшей.

А в ежедневных заботах деда Огаркова ничего не изменилось — он все так же воровал дрова, ловил рыбу, собирал грибы.

Как раз в канун години бабы Вероники в его доме появилась новая жиличка.

Вообще-то, ее звали Настя, а в детстве дразнили Настёна-сластёна, поэтому собственное имя ей не нравилось и, повзрослев, она стала представляться Надей, а позже — Надиной, что ей казалось намного красивее.

Родом Настя-Надина была «дивчиной с Полтавы». В наш лесной край она приехала по оргнабору, чтобы подзаработать денег. Год махала топором в сучкорубах, еще полгода была табельщицей. Длинных рублей даже во сне не видела и, плюнув на скучную жизнь в лесном поселке, перебралась в районный центр.

Деда Огаркова Надина встретила в продмаге, куда он пришёл за крупой.

— А что, дедушка, не сдашь ли мне комнату? — спросила она.

— Да у меня всего одна, — ответил Огарков.

— Вот и хорошо. Будем толкаться в одной — я человек уживчивый, — со смехом сказала Надина.

Веселость молодой барышни деду понравилась.

Сторговались на трех рублях в месяц.

— Столоваться-то как будем — вместе или каждый сам по себе? — деловито спросила Надина.

— А ты как думаешь? — заосторожничал дед Огарков.

— Лучше вместе, — сказала Надина и пояснила: — Дешевле получится.

Тут же в продмаге она купила полкурицы, вилок капусты и килограмм фарша.

— Растительное масло в доме есть? — спросила у деда.

— Есть.

— А картошка?

— Полный погреб.

— Ну, тогда от голода не померем.

Глядя на траты барышни, дед тоже решил не ударить в грязь лицом и попросил у продавщицы пакет мятных пряников и бутылку портвейна за рубль-две.

— Не простой ты, дедушка, — снова засмеялась Надина. — Любишь кутнуть.

Дед Огарков стушевался и ничего не сказал, а беззаботная женская веселость ему опять пришлось по душе.

«Ишь ты, — подумал он, — смешливая».

Надина сварила щи с курой, отварила картошку, нажарила котлет. Дед Огарков совсем разомлел — давно в доме не пахло вкусной едой. Гулять так гулять, решил он и поднял из погреба миску соленых груздей, шмат сала, завернутый в тряпицу, и баночку маринованных огурцов.

Ужин удался на славу.

На следующий день дед Огарков засобирился на свои любимые Верковские озера.

— К вечеру вернешься? — спросила Надина.

— Это вряд ли. Завтра приду или послезавтра — как рыбалка пойдет.

Надина молча и споро собрала ему остатки от вчерашнего изобилия.

— Возьми-ка с собой.

— Да я там уши наварю. Не впервой.

— Тем более возьми — мыслимое ли дело два, а то и три дня на рыбе жить.

— Придумала тоже, — проворчал дед Огарков, но сверток с едой взял.

— У тебя там избушка? — спросила Надина. — Спать-то где будешь?

— Как где? — удивился дед Огарков. — Под пологом.

— На морозе?

— Так я же костер разведу, специальный такой, охотничий — надья называется.

— Это как?

— Очень просто. Скатываешь вплотную два бревна, между ними разводишь огонь, а сверху на эти бревна кладёшь еще одно — третье, оно самое большое. Горит надья всю ночь и тепла дает много, спишь как у Христа за пазухой.

— Ну ты, дед, даешь.

— Ага, даю. А ты не скучай, обживайся пока. Если куда пойдешь, дверь на замок не закрывай — воровать здесь нечего.

Когда через три дня дед Огарков вернулся домой, то в душе тихо ахнул: пол намыт, печь побелена, стол отскоблен до ясной желтизны, окна протерты, на них веселенькие занавески в горошек, а над его кроватью картина, и не эти дурацкие, точно гипсовые, лебеди в пруду, не олени с глазами навывкат, а всамделишная, купленная за деньги.

— Это я в раймаге высмотрела, — похвасталась Надина. — Называется «Рубка леса». У художника фамилия такая смешная — Шишкин.

Жизнь в домике явно налаживалась.

Надина целыми днями хлопотала по хозяйству. Дед с еще большим рвением стал ловить щук и воровать дрова, даже наладился шишки в лесхоз сдавать, чтобы появилась к пенсии лишняя копейка. Это его фамилия художника на такое дело надоумила.

В трудах и заботах незаметно пролетела зима, весна отбренчала грязными ручьями и наступило долгожданное лето.

В душный июль у нас обычно спят с открытыми окнами, их лишь медицинской марлей занавешивают, чтобы комары не залетали.

Тишина в июле. В этот месяц даже ветры отдыхают.

В одну из ночей, когда слышно, как в хлеву тяжело, по-бабьи, вздыхает корова, как топчутся на насесте дремлющие куры, как в подполье шуршат и попискивают мыши... В одну из таких ночей со стороны дома Огаркова раздался громкий вскрик и вроде как стон.

Моя мать вскочила с кровати, подбежала к окну.

— Что случилось?

Прислушалась и все поняла.

— Господи Иисусе, да у них там любовь!

Как было не понять?

Это лишь тонконогие американки в красивых фильмах жалостливо бормочут «йес, йес»,

наши женщины не молят и не просят, они требуют — «еще!».

Мать долго-долго слушала, а потом засмеялась.

— Вот дает старый! Ну и жеребец!

Под вечер следующего дня на нашем широком крыльце, как всегда, собрались, чтобы поиграть в лото.

Пришла Дуся Тушина со своим взрослым сыном Юрой. Пришла уставшая от своей многодетности Тася Шитикова, пришли наши соседи дядя Володя и тетя Аня, ну и мы с матерью, конечно же, были тут.

Разобрали карточки.

Дядя Володя тряхнул мешочком и стал вытаскивать бочонки.

— Двадцать два, восемнадцать, чертова дюжина — тринадцать, тридцать пять...

— Баба — ягодка опять, — сказал Юра Тушин.

— Не мешай. «Стульчики» — сорок четыре, «дед» — девяносто...

— Не, — сказал Юра Тушин, — наш моложе будет.

Дуся Тушина и Тася Шитикова засмеялись, а моя мать покраснела и смутилась, наверное, вспомнила, как долго стояла у окна.

Ночные стенания и вскрики Надины, оказывается, слышал весь хутор.

— Вот ведь девка, — сказала тетя Аня, — я сегодня видела ее, идет себе, как пишет, и улыбается. Ничуть ей не совестно.

— А чего совеститься? — сказал Юра Тушин. — Это вы все тишком да молчком, точно крадёте. А Надина — девка правильная, она этими криками деда вдохновляла. Но и он не подкачал — полным орлом показал себя. Я думаю, за эту ночь он лет на двадцать помолодел, а то и на все двадцать пять.

— Да неловко как-то, — сказала тетя Аня. — Она ему в дочки годится.

— Хорошо, что не во внучки, — сказал дядя Володя. — Мы играть будем или как?

Не знаю, сколько лет сбросил Огарков — десять или двадцать, но он действительно изменился. Уже не так косолапил, а ходил, по словам Юры Тушина, «бодро-весело», подстриг свои седые космы, подровнял бороду и, самое удивительное, — перестал сморкаться на землю, а за-

вел для этого дела большой мужской платок. Более того, он даже стал со всеми охотно разговаривать, в основном, конечно, о погоде, но и это уже был небывалый прогресс.

К зиме дед Огарков, чтобы получать более ощутимый довесок к пенсии, устроился работать сторожем на овощебазу.

Теперь у него была, ну или как бы была, молодая жена, а у нее могли появиться разные женские прихоти и капризы.

Однако Надина ничего от деда не требовала, она исправно вела хозяйство и довольствовалась тем, что имела.

Так они прожили зиму.

А весной, когда уже проорали свое извечное мартовские коты и вот-вот должен был сойти снег, Надина завела любовника.

Неподалеку от нашего хуторка, около метеостанции, стоял длинный одноэтажный барак, в котором квартировали солдаты-связисты. Вот там-то и нашла она ухажера — дородного и величественного старшину-сверхсрочника.

Дед — на ночное дежурство, а Надина — к старшине.

Эти ее хождения раскрылись случайно.

Как-то дед Огарков пришел на дежурство, а сторожка выстужена. Принес дровишек, плиту растопил и прилег на нее, еще холодную. Пусть чуток спину мне прогреет, подумал он и не заметил, как задремал. Проснулся от неприятного запаха. Сторожка была полна дыма. Спину уже припекало, но еще не сильно.

Так это ж я горю, понял дед Огарков, сбросил фуфайку, стащил ватные штаны и жутким привидением в нательной рубашке и кальсонах побежал искать ведро. Пока нашел его, пока воды из ближайшей канавы принес, производственная одежда изрядно пострадала — у фуфайки выгорела часть спины, а на штанах, на самом видном месте, красовались две дыры. Как утром в таком виде на глаза начальству показаться? Дед ходко побежал домой, чтобы переодеться. Пришел, а Надины нет. Посидел, подождал — где ж она? И у соседей окна темны — спят все.

Утром он не стал Надину ни о чем спрашивать, а когда подошло следующее дежурство, собрался, как всегда, но на базу не пошел, а, перейдя шоссе, спрятался в кустах.

Ждать пришлось недолго — минут пятнадцать. В темной юбке, темном жакете, темном,

низко повязанном платке Надина тенью выскользнула из дома и скорым шагом, почти бегом, направилась в сторону метеостанции. Дед не стал ее преследовать, он вернулся домой, собрал солдатский ситор, за голенище сапога сунул охотничий нож, за ремень — любимый топор, потом достал из-за косо висящего зеркала все свои сбережения, положил их на край стола, перекрестился и ушел в ночной лес.

Надина по обыкновению вернулась под утро; не включая свет, быстро разделась и юркнула в постель.

Только когда проснулась, увидела на столе стопку мятых ассигнаций. Ей сразу стало тревожно.

В одиннадцать прибежала на овощебазу.

— Где мой дед?

— Не знаем, где этот прогульщик, — отрезал заведующий. Он был сильно зол — всю ночь склады простояли без охраны, и чудо, что ничего не украли.

Через три дня Надина заявила о пропаже деда в милицию. О деньгах она там ничего не сказала. Участковый побывал на овощебазе и во всех домах нашего хутора — никто ничего не видел, никто ничего не знал.

К старшине Надина больше не ходила, чему тот совсем не огорчился — эта хохлушка-хохотушка ему уже надоела.

Теперь она целыми днями сидела у окна и терпеливо ждала своего деда.

В конце июня к ней зашел машинист Федор Максимович Митруков. Поздоровался, достал пачку «Севера», но закуривать не стал, передумал и сунул папиросы обратно в карман форменного кителя.

— Знаешь, где твой старик? — сказал он. — В заброшенной будке путевого обходчика, что на одиннадцатом километре. Вот где он теперь обитает. Раз или два раза в неделю появляется на полустанке, продает пассажирам проходящих поездов вяленую плотву, а в автолавке берет хлеб, соль, чай, консервы. Рыба у него расходуется влет, так что не бедствует.

Он снова достал из кармана пачку «Севера», эти тонкие папиросы курильщики пренебрежительно называли «гвоздиками», и закурил.

— Вот такие дела, хозяйка. Ну, бывай, а я пойду — дома ждут.

Надина бросилась ко мне.

— Сашок, ты тут все тропинки знаешь. Что за будка на каком-то одиннадцатом километре?

Она сбивчиво пересказала все услышанное от Федора Максимовича.

Я объяснил, что в девяти километрах от города находится полустанок, где только почтово-багажные поезда останавливаются, да и то на пару минут. А в двух километрах от этого полустанка стоит покосившаяся будка с печкой-буржуйкой. Мы с Леней Раутиайненом, моим товарищем по рыбалкам, в ней даже однажды ночевали.

— Пошли туда быстрее! — закричала Надина.

— Так собраться надо, — сказал я бестолковой женщине. — Не по шпалам же топать, по шпалам идти далеко и утомительно, нужно напрямик, лесом, тогда всего километров пять получается...

— Вот и пошли лесом! Только быстрее!

— Заладила «быстрее-быстрее», ты хоть сапоги надень — там же два болота на пути.

— Нет у меня сапог. В туфлях пойду.

Я все-таки заставил ее найти хоть какую-нибудь куртку — все-таки в лес идем — не на танцы.

Мы вышли в начале третьего, а уже к четверем подошли к будке. Дошатая дверь под выцветшей голубой краской была подперта палочкой. Мы вошли внутрь. Нары вдоль стены, маленький столик, полка с продуктами, печка из поржавевшей бочки с коленом трубы, на печке жестяная банка из-под персикового компота, которая заменяла хозяину будки котелок. Печь-буржуйка была еще теплой.

— Здесь он, — сказал Надине. — На вечернюю зорьку ушел. Ловит, думаю, на речке, там плотвы много. А в здешних озерах в основном окунь да щука.

Надина села на порог; не стесняясь меня, задрала подол, отстегнула чулки и стала их отжимать.

— Ты иди, Сашок, — сказала она. — А я посижу тут, дождусь деда. Иди-иди, спасибо тебе.

Домой Надина вернулась лишь к вечеру следующего дня. Ее подвезли дорожники, возвращавшиеся из Хаутаваары.

Я как раз подкачивал шины велосипеда — собирался сгонять к Лене, чтобы позвать на рыбалку.

— Он не пришел, — сказала Надина. — Я прождала весь вечер, всю ночь и половину сегодняшнего дня — он не пришел.

На следующий день мы с Леней снова были около этой будки. Заглянули вовнутрь. Все те же нары, столик с фанерной столешницей, печурка, но полка пуста и нет банки из-под персикового компота. Я понял, что произошло. Дед Огарков издалека увидел Надину, которая сидела на пороге, притаился где-нибудь и терпеливо дождался, пока она уйдет, после этого забрал свои вещи и тоже ушел. Куда — не знаю. Больше из знакомых его никто не видел. Земля велика.

□

Валерий Николаевич ВЕРХОГЛЯДОВ

родился в 1946 году в городе Пудожье.

Окончил историко-филологический факультет

Петрозаводского государственного университета.

Работал в редакциях газет «Комсомолец», «Ленинская правда»,

«Петрозаводск», «Карелия», «Город».

Заслуженный журналист Республики Карелия.

Автор многочисленных очерков и ряда книг по истории Петрозаводска.

Член Союза писателей России с 2000 года.

Живет и работает в Петрозаводске.

